

СЮЖЕТ С КАНДИНСКИМ

Рассказ

он услышал, как вошла Нина, почувствовал, что она смотрит на него — спит ли он, и, поняв по дыханию, что не спит, подошла к окну, осторожно раздёрнула шторы — я приоткрою окно? — полувопросительно сказала она он издал звук, похожий на согласие целчок задвижки — и до него дошла струя свежего воздуха, а вместе с нею — шум улицы, разрозненные звуки медленно просыпающегося города, словно музыканты настраивали инструменты перед концертом... тонкие разноцветные линии... он сделал глубокий вдох... неуловимое присутствие воды от близости Сены... где-то запах Булонского леса... — не холодно? — спросила Нина — оставь, — чуть слышно произнес он ноздри расширились, затрепетали, втянув воздух.. глубже... глубже... жадно ловили дыхание жизни... там, за окном, совсем рядом от Нейи-сюр-Сен, начинались Елисейские поля, бился ритмичный пульс Парижа... вечно молодого, вечно живого, вечно города... города со своей особой мелодией...

Выставка Кандинского в Центре Помпиду открылась еще в начале апреля. Афиши задолго были развешены везде: на улицах, и в подземных переходах, и в метро — отовсюду смотрели на прохожих летящие шары, квадраты, треугольники, овалы, ударяла в глаза огромная надпись: Кандинский...

В молодости он писал стихи и читал их в кругу друзей, и они их хвалили. Не просто так, чтобы похлопать по плечу, а искренне любили их слушать. Писал акварели — несколько лет ходил заниматься в студию. И акварели хвалили, советовали учиться дальше. Иногда на рисунке, где-нибудь в верхнем или нижнем углу, он записывал только что пришедший в голову стих — как дополнение к композиции. И его портретные рисунки гуашью нравились всем. Ему это было в удовольствие — на какой-нибудь летней студенческой тусовке пристроиться с мольбертом и красками и набросать понравившийся пейзаж или портрет и подарить потом со своим автографом. К нему выстраивалась очередь, как только он начинал раскладываться. Его почерк часто узнавали: «Это тебя Сергей Кондаков рисовал? Здорово уловил...»

Поэтому, осев в Париже, он не пропускал ни одной художественной выставки.

В этот раз у него не было времени, чтобы попасть на Кандинского в самом начале, да и бесконечная очередь останавливала. Он несколько раз откладывал на потом, когда первая волна любопытных схлынет.

— Напрасно надеешься, — сказала Виталия, которая тут же помчалась на открытие, — это же Кандинский!

И вот сегодня, поняв, что ему не дожидаться момента, когда перед входом никого не будет, наконец собрался.

Уже стоя на пороге, он крикнул Виталии:

— Я на Кандинского.

— Наконец-то! — из глубины квартиры отозвалась жена и вышла в прихожую, чтобы проводить. — Рубашку надел свежую?

Он утвердительно кивнул:

— Конечно!

Она придиричиво глянула миндалевидными зеленовато-карими глазами, поправила что-то около воротничка, еще раз оглядела и добавила строго и укоризненно:

— Все уже посмотрели давно, ты последний, наверное. Стыдно сказать знакомым.

Он захлопнул дверь и слышал, стоя у лифта, как она что-то говорит сама с собой, но слов не разобрал.

Было раннее воскресное утро, июльскому солнцу пока не время было припекать, и он решил, что, пожалуй, припарковавшись, сначала пройдет по центру.

Оставив машину вблизи Бульвара Сен-Мишель, он медленно двинулся в сторону Сите.

Париж так многогранен, так разнообразен и неповторим, так полон фантазии, так брызжет энергией — и потому так прекрасен в любое время суток. Сейчас город лениво, полусонно и нехотя делал первые движения, издавал первые звуки утренней песни, которая днем окрепнет и зазвучит мощным оркестром. Он шел наугад, ни о чем не думая, просто наслаждаясь погодой и прозрачными красками города: нежно-голубым цветом неба, мягкой игрой воды и слегка выгоревшей от жары и тронутой уже желтизной зелени, яркими цветниками на газонах и обвивающими фонари цветами в подвесных вазах, причудливой пышной формы темными шапками крыш, которые в лучах солнца кажутся еще пышнее.

Он с удовольствием сознавал, что вот он среди этой красоты уже двадцать лет. Когда-то, еще студентом, он решил для себя во что бы то ни стало, любыми правдами и неправдами попасть в этот город, в котором каждый стремится побывать хотя бы раз: в Париж... в Париж!.. Насовсем? Тогда это еще не осознавалось, просто всем хотелось, мечталось о загранице. Витка просто бредила Парижем:

— Я знаю точно, чего хочу: машину «Ситроен», на которой я буду разъезжать по Елисейским полям!

Это так категорично говорилось и повторялось столько раз, что он заразился ее идеей, и в голове тоже прочно засел «Ситроен» — собственно, к этой точке и стремилась их жизнь.

В этом году отпраздновали двадцатилетие. Двадцать лет его безупречной работы, вид на постоянное жительство, у Виталии «Ситроен», у него «BMW» — на «Порше» или «Мерседес» не потянули, но тоже престижно; своя жилплощадь. Ну, не шестнадцатый квартал, у них более скромно, всего лишь за станцией Пер-Лашез, там, подальше, но — Париж!.. И пусть его бывшие сокурсники разбрелись теперь по всему миру, Америкой кого удивишь? Лучше всех эта самая «заграница» у него. Самое главное — когда выкладываешь эту визитную карточку всей своей жизни...

Он улыбнулся, глядя, как продавцы раскладывают букинистические книги на лотках, отрицательно покачал головой, когда ему сделали приглашающий жест посмотреть антикварные гравюры, бросив неизменное, вежливое, ничего не значащее «Merci!», и остановился перед красным светом светофора.

Магазины сегодня закрыты. Машины еще не набрали привычной скорости. Из кафе доносятся запахи круассанов, кофе и шоколада. Над столиками уже раскрыты зонты... Все спокойно, размеренно, с легкой усмешкой французского полуприкрытого глаза, который замечает любую мелкую деталь.

Перейдя через мост, он сразу почувствовал оживление перед Собором Нотр-Дам. Потихоньку стекались художники; пока солнце еще не залило всю площадь, раскладывали в тени стульчики и мольберты, выставляли готовые работы на продажу, надеясь получить сегодня хорошую выручку. «Народ уже толчется вовсю!» — отметил он про себя.

Было около девяти часов утра. Он сообразил, что скоро начнется воскресная месса, которую здесь никогда не стоит пропускать, и вместе с толпой туристов вошел внутрь собора.

Он не религиозен. Это Виталия ставит свечи умершим родственникам и просит и его делать то же самое, а для него трудно даже перекреститься в церкви. Он знает про себя, что посещает храмы лишь с эстетической и познавательной целью. Но никогда ни один храм не вызывает у него такого чувства, как Собор Парижской Богоматери. Таинственность — вот, наверное, точное определение, почему его неизменно тянет сюда. Приближаясь к Собору, он содрогается от загадочного, жесткого, ироничного выражения, с которым смотрят сверху химеры; каждый раз он вступает в него как в нечто еще не изведенное, как будто пришел сюда впервые. И каждый раз ему вспоминаются строки из великого романа, что это не просто яркая вспышка гения, а как бы огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека, и народа. Внутри всегда полумрак. Приглушенный рассеянный свет теряется, постепенно растворяется, и из темной глубины храма, разбрасывая феерическую радугу оттенков, выступают, словно горят, лишь разноцветные пятна витражей. Длинная торжественная процессия с золотым крестом и свечами, которая медленно движется по вековым каменным плитам пола, заставляет внутри что-то неожиданно затрепетать перед величием места, где совершается Божеское правосудие. Время медленно замирает здесь, и единый мощный порыв, гармония, которая объединяет находящихся в храме — и священнослужителей, и пришедших, неважно, молящихся или нет, — возносится громким пением псалмов вверх, к стрельчатым сводам, звонкой натянутой струной: «*Кто услышит слово мое и уверует в пославшего меня, имеет жизнь вечную...*» И в конце — как облегчение после тяжелого испытания: «*Amen!*»

Восхищение — слишком, конечно, банально сказано, но именно это чувство он испытал в очередной раз, когда служба в Соборе Парижской Богоматери закончилась. «Да, впечатляет, — сказал он себе, медленно продвигаясь к выходу, — грандиозное шоу. Performance. Ничего не скажешь, умеют поставить».

Выйдя из собора, он решил, что не будет возвращаться к парковке, а поедет на метро, и спустился вниз. Кандинский... Кандинский... Афиши еще были на каждом углу, хотя выставка скоро заканчивалась.

Подойдя к Центру Помпиду, он понял, что надеяться на то, что толпа схлынет, было попросту наивно, вздохнул и встал в конец очереди.

*Нина что-то переставила на столике около кровати, что-то, видимо, убрала и вышла...
и он снова остался один*

открывать глаза было трудно, и он не хотел — он просто лежал, уйдя полностью в воспоминания Франция дала ему еще одну жизнь... национал-социалисты объявили его произведения «дегенеративным искусством» и выкинули его работы из немецких музеев... Париж, этот город, в который влюблен даже тот, кто никогда в нем не бывал, вдохнул в него свой колорит

он гнал прочь грустные мысли... как всегда, впрочем... но тогда он полностью уходил в работу; иногда работал до глубокой ночи, пока им не овладевала усталость почти до тошноты... талант — это лишь дверь туда, где находится мастер — как это верно было сказано... дни, когда не удавалось написать пейзаж или этюд, казались растраченными впустую, легкомысленно, безумно потерянными

его неиссякаемой энергии всегда поражались... вот еще совсем недавно, в июне, он обсуждал с композитором Томасом фон Хартманом создание балета... как некогда делал проекты театральных постановок... а несколько дней назад они еще пели с Ниной русские песни... тихо пели, задумчиво, так что у него на глазах выступали слезы...

они наполнили — как всегда у него, окрашенные в цвета: ликующие и торжественные, задумчивые и мечтательные, серьезные, озорные, вздыхающие от облегчения, неустойчивые в своем равновесии... одно лишь нажатие пальца — и завораживающее буйство живых цветов само выходит из тюбика... он, мальчик, стоит перед набором масляных красок, которые только что получил в подарок, пораженный этим волшебным видением... потом, через много лет, он поймет: его — это ощущение — нужно только перенести на холст, чтобы сохранить навсегда...

навсегда...

много позже он опишет это состояние в «Ступенях», эту алхимию красок, которая тогда пленила его на всю жизнь... разноцветные шары, которые потом полетят на чистом голубом фоне...

Он медленно переходил от одного полотна к другому, подходил совсем близко, вглядывался в мазки, потом отходил на далекое расстояние, словно что-то прикидывал, измерял, решал для себя.

Вдруг он услышал русскую речь. Хотя в Париже ею никогда никого не удивишь — вокруг то тут, то там переговаривались по-русски. Но это была группа, которую вела экскурсовод-женщина, и он приостановился, чтобы немного послушать.

— По линии матери у Кандинского были прибалтийские немцы, — рассказывала она. — С детства художник привязан к Германии, первым языком его был немецкий и первая книжка, которую он прочел, была на немецком языке. Много позже в одном из писем к своей возлюбленной Габриеле Мюнтер он напишет, что все немецкое, немецкие древности значат для него больше, чем для многих немцев, что он только наполовину русский... «По воспитанию — я наполовину немец», — говорит он. Практически вся жизнь в искусстве была связана у художника с Германией. Однако в раннем творчестве Кандинского определенно просматривается русская традиция: основными темами его работ являются персонажи народного фольклора, сюжеты русских сказок, преданий, былин...

В конце концов в институте на их курсе ему дали прозвище: Кандинский — и по-другому никогда не называли. Он даже прочитал книгу «О духовном в искусстве», проникся идеей духовного треугольника, который медленно движется вперед и ввысь, и так ли уж много людей, несмотря на памятники, действительно поднялось на вершину? А потом лень, что ли, стала одолевать: скучно стало и стихи сочинять, и пейзажи рисовать. Все реже стал заниматься и тем, и другим. Ушло это из него, он чувствовал, мощь аккордов отзвучала. Иногда все-таки он пытался рисовать, но с досадой бросал кисть: ничего не получалось; а вялые арпеджио, которые временами еще возникали в душе, шли теперь по убывающей высоте и окончательно заглохли. Лежали теперь где-то ватманские листы с его работами; что-то, правда, Виталия повесила в их парижской квартире, а остальное запрятали. И забылось. Тетradка со стихами недавно попала, когда ящики чистил, почитали вечером вслух: «Надо же! Здорово!» — и заложили обратно.

Нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее — это его глубокое убеждение, только этим и нужно жить. И в нем — машина, четырехкомнатная квартира в не-шестнадцатом квартале Парижа и дочь Ланка, которую родители регулярно оттащивали от травки. Возвращаясь с Виталией домой, подозрительно принимались к запахам, оставленным в их отсутствие ее друзьями, хотя Ланка тщательно проветривала квартиру, чтобы к их приходу ни-ни. И вздыхали: вся эта современная молодежь теперь покуривает легкие наркотики, куда от этого денешься? Ничего не поделаешь, современный тренд... Они утверждают, что для поднятия настроения, чтобы от депрессии... Болтовня. Теперь Ланка живет отдельно, со всеми своими выкрутасами, так пока ни к чему и не пристала, но — настоящая француженка...

Взглянув сейчас на юные лица, на серьезные и внимательные глаза, которые были прикованы к экскурсоводу, он решил, что это должны быть студенты из России.

— В трактате «О духовном в искусстве», — слышалось впереди, — Кандинский разработал теорию формы, согласно которой каждый цвет, линия, геометрическая фигура может вызвать у человека самые разные ассоциации — зрительные, звуковые, вкусовые и прочие. Так, синий цвет, согласно художнику, подобен звуку